



## 1

Возвращаясь на редакционной «эмке» из-под Ржева, Лопатин на объезде у Погорелого городища попал под утреннюю немецкую бомбежку, перележал ее в снегу и нанюхался гари от разрывов.

Если б за пять минут до этого успели обогнать по обочине колонну порожних грузовиков, тоже шедших к Москве, попали бы в самую кашу. Два передних грузовика разбило в щепки. Но не обогнали, и обошлось — перележали.

Как ни глупо, а могли отдать концы на этом объезде, уже на пути к Москве, после того, как за две недели на фронте так ни разу и не подсунулись под близкий обстрел. Везло. А впрочем, не только везло. Если не врать самому себе, то на этот раз, после Сталинграда, он поехал сюда, под Ржев, без большой охоты. Устал от чувства опасности и никуда особенно не совался.

После бомбежки отъехали уже десять километров, а внутри все еще ныло от страха. Он остановил водителя и, чтобы избавиться от нытья под ложечкой, выпил с ним по глотку из фляги и закусил мерзлым сухарем. Стоял мороз, и — вслух — считалось, что по этой причине и выпили.

Когда Лопатин к вечеру добрался до редакции, которая еще весной вернулась на свое прежнее место, на Малую Дмитровку, редактора не было. Оказывается, он улетел под Котельниково, где немцы пытались прорваться к Сталинграду. Секретарша сказала, что редактор с утра перед вылетом вызывал к себе Гурского и Гурский все знает.

— Подите к нему!

— Прибыл? П-посиди или п-полежи. — Гурский, не вставая из-за стола, показал рукой на диван. — Д-дописываю п-передовую. Сейчас в последнем абзаце сок-крушу третий рейх, отнесу и п-поговорим...

Он подвинул по столу папиросы:

— Д-дыми в пределах гуманности. А то все т-толкуются, все д-дымят, а я сижу тут и к-кашляю — слабогрудое городское дитя. Фортку открывать — холодно.

Он говорил все это, не отрывая глаз от бумаги и продолжая писать, навалиясь широкой грудью на стол; все, кто приезжал с фронта, действительно толклись у него и по делу, и без дела, просто чтобы послушать его остроты.

— Сок-крушил, — сказал он через несколько минут, собрал листки, вышел — и тут же вернулся и сел рядом с Лопатиным.

— Чего он меня держал там и чего вдруг вызвал? — спросил Лопатин о редакторе.

— Д-держал, как я д-догадываюсь, чтобы ты написал об освобождении Ржева, а вызвал потому, что перспектива пока отодвигается. Отб-бывая на фронт, п-приказал, чтобы ты написал что-нибудь обобщающее на д-два подвала: та зима

и эта. Год н-нынешний и год м-минувший. Могу подарить тебе это название лично от себя. Ну, как вы т-там наступали?

Лопатин пожал плечами:

— П-посредственно?

Лопатин не ответил. Его покорило. В общем-то, это была правильная оценка того, что происходило на Западном фронте, но само слово «посредственно» никак не сочеталось с теми отчаянными усилиями во что бы то ни стало продвинуться еще на километр или на два, которым он был свидетель в последние дни.

Гурский усмехнулся его молчанию. Он привык к своей коробившей других безапелляционности и гордился ею.

— Зато могу тебя порадовать, — сказал он, — т-там, под К-котельниково, ф-фрицам уже не светит п-прорваться к Сталинграду. Начали бить им м-морду и продолжаем по н-нарастающей. П-попросился поехать с редактором, но он приказал сидеть здесь и п-писать передовые по его указаниям оттуда. К-каждому свое. Где заночуешь?

— А мой номер в «Москве» за мной? — спросил Лопатин.

— За т-тобой, куда же ему деться.

— Тогда поеду в «Москву» — писать.

— Н-не торопись, — прощаясь, сказал Гурский. — Вид у т-тебя усталый, и, если завтра не сдашь, мир не рухнет. Заг-гон есть.

Хотя он и был на двенадцать лет моложе Лопатина, но привычно говорил с ним как старший, советов которого надо слушаться. Заботливый

к тем, кого любил, он взамен хотел нравственной власти.

— Да, — уже простившись, вспомнил он, — письмо от д-дочери. — Порылся в ящике стола, вынул и отдал Лопатину письмо. — Завтра расскажешь мне, к-как она там живет.

В гостинице «Москва» хотя и экономно, но топили. Три недели назад, когда Лопатин вернулся из Сталинграда и редактор устроил его сюда, топили только на двух этажах, теперь — на трех. Народу прибавилось. Об этом ему сказала дежурная по шестому этажу, которой он отдал одну из двух привезенных с фронта банок американской тушенки.

Дежурной хотелось отблагодарить его, и она спросила, не нужно ли второе одеяло. А когда он сказал, что не нужно, предложила постирать и подшить ему к утру подворотничок.

Он пошел в номер, разделся, отнес ей гимнастерку и, вернувшись, залез в кровать под одеяло и полушубок и стал читать письмо, полученное от дочери.

Это пришедшее из Сибири, из Омска, письмо было результатом тех последних перемен в его личной жизни, которые хотя и надвигались давно, но разразились, как запоздалый дождь, лишь в этом году: между двумя его поездками на фронт, весной, к нему в Москву приехала жена и заявила, что выходит замуж.

Еще с ее прошлогоднего, декабрьского, не-лепного приезда в Москву ему было ясно, что ту жизнь, какой они жили, вряд ли разумно длить

дальше. Но у него не было ни времени, ни окончательной решимости ставить самому так называемые точки над и, о которых с такой легкостью говорят люди, наблюдающие со стороны чужое неустройство. Времени не было, потому что была война, на которую он ездил, как заведенный, то на один фронт, то на другой, а окончательной решимости не хватало, потому что в деревне, под Горьким, жила их общая дочь, продолжавшая получать письма от них обоих и хотя чувствовавшая неблагополучие, но не знавшая его меры.

Во всяком случае, так ему до поры до времени казалось.

Была еще одна причина. Уже зная, что его жена живет вдали от него с другим человеком, он все еще продолжал высылать ей аттестат. С кем бы она там ни жила, деньги, наверное, были ей нужны, и самому писать, что им надо развестись, значило бы напоминать, что он может лишиться ее этих денег. Ему претила эта мысль, связанная с другой: а вдруг она из-за этих денег пойдет на какую-нибудь совсем уж унижительную ложь.

Но весной она сама свалилась ему как снег на голову. Может быть, у нее были и какие-то еще дела в Москве, но сказала, что приехала, только чтобы объясниться с ним, прежде чем выйти замуж за другого.

Он только накануне вернулся из Крыма, злой, мрачный, натерпевшийся горя и страха на Керченском полуострове. И, уже вернувшись, не то чтобы понял — понимал и раньше, а шкурой

чувствовал, что смертен и мог пропасть ни за понюшку табаку. Все заготовки для корреспонденции, все, ради чего мотался там, в Крыму, с места на место, пошло коту под хвост. Писать в газету было нечего и не о чем. Редактор при всей своей жадности к материалам даже не спросил, что привез. Только при встрече крепче обычного пожал руку, молчаливо поздравляя, что остался жив.

Он-то остался. Но из головы не выходили другие...

И это состояние его духа, наверное, повлияло на их встречу с женой, приехавшей в Москву для объяснений в каком-то слепом ко всему окружающему, самодовольном ощущении собственного благородства.

Она приехала прямо в редакцию рано утром, сразу с поезда.

Он ночевал в редакции, но ключ от их квартиры был у него.

Вахтер позвонил снизу, разбудил еще спавшего Лопатина и сказал, что к нему просит разрешения пройти женщина, Ксения Сергеевна.

Лопатин наспех оделся и спустился в вахтерскую.

Она демонстративно покорно стояла, прилонясь к стене с чемоданом в руках. Он взял чемодан.

— Ключ от квартиры у тебя? — спросила она.

Он кивнул.

— Может быть, поедем домой?

— Сначала поднимемся, — покосившись на вахтера и не говоря ни «да», ни «нет», ответил

он. И, поискав глазами, сунул чемодан под канцелярский стол, за которым сидел вахтер. — Пусть пока постоит.

Они поднялись на третий этаж, в комнату, где он в ту весну жил, когда приезжал с фронта. Она огляделась и села на край стула.

— Теперь, когда мы вдвоем, может, ты все-таки поцелуешь мне руку? — спросила она.

Это было из какой-то пьесы. Он не помнил из какой, но помнил, что из пьесы, и это раздражило его, напомнило, что она завлит театра и живет с директором, которого зовут Евгением Алексеевичем.

— Почему не дала телеграммы, я бы тебя встретил? Было бы все же умнее, — сказал он.

Она замялась, и он подумал, что, если она приехала в Москву не одна, а он бы ее встретил, все вышло бы не умнее, а еще глупее.

— Может быть, все-таки поговорим дома, а не здесь — в канцелярии?

— Я здесь живу, — сказал он.

— Ты догадываешься, зачем я приехала? — спросила она, подняв на него глаза. Она была все так же красива, и этого по-прежнему нельзя было не заметить.

— Нет, не догадываюсь, — сказал он.

Это была правда. Всю свою жизнь с нею он почти никогда не мог догадаться, что ей придет в голову в следующую минуту.

— Я пришла просить, чтобы ты снял с меня грех и отпустил меня, — не дождавшись ответа, сказала она. — Я должна выйти замуж за Евгения Алексеевича.



Сказала «пришла», а не «приехала», — наверное, заранее обдумала. Грешницы не приезжают, а приходят.

Он еще раз посмотрел на нее, на ее изящно и грустно изогнувшееся на стуле знакомое тело, и удержался от грубости, не сказал: «Ну что ж, раз должна — так и выходи!» Промолчал.

В конце концов, при чем тут она? Во всем виновата не она, а вот это ее тело, которое он целых пятнадцать лет любил рассудку вопреки. «И не мог оторваться от него, не мог отлипнуть», — с презрением к собственной слабости подумал он о себе.

Она смотрела на него, а он молчал. Ей казалось, что он злится или, как она мысленно привыкла выражаться, «закусывает удила», он, наоборот, смягчился, удивленный мыслью о собственной вине.

Раньше раздраженно привык считать ее виноватой в том, что в нужном ему теле жила ненужная ему душа, равнодушная к тому, чем он жил и что делал, занятая только собой, да и собой-то — по-глупому.

Да, все так, но он-то умный, а не глупый, и с царем в голове, — он-то что сделал, чтобы все это не длилось пятнадцать лет?

«Теперь уже шестнадцать», — поправил он себя, потому что, несмотря на разрыв в прошлую зиму, их все еще что-то связывало.

И не он, умный, а она, глупая, клала сейчас всемо этому конец.

— Ты должен быть спокоен за меня, — не выдержав молчания, сказала она. — Я выхожу замуж за хорошего человека.

И зачем-то расстегнула планшетку. У нее была теперь не сумка, а планшетка, разозлившая его дамская дань военному времени.

Может быть, хотела показать ему фотографию хорошего человека, за которого выходила замуж?

Он подумал об этом с иронией, но остановил себя: а почему непременно за плохого? Ведь и ты считал себя хорошим. И жил с ней.

Но фотографию хорошего человека ему видеть не хотелось, и, наверное, это выразилось на его лице. Она со вздохом застегнула планшетку.

— Неужели так и будем разговаривать с тобой здесь?

— А где же еще? — сказал он без вызова, с удивившей ее мягкостью. И добавил, что сделает все, как она хочет. Если хочет, чтобы прямо сейчас пошел с нею в загс, пойдет туда. Если хочет, чтобы написал заявление о разводе, напишет и отдаст ей.

У нее выступили слезы; простота, с которой он согласился сделать то, зачем она ехала, расстроила ее. Она хотела именно этого, но хотела, чтобы это было как-то по-другому.

«Вот такая она и всегда — без царя в голове», — подумал он с глухим отзвуком давно умершего и, значит, все еще не до конца умершего чувства к ней.

— Лучше напиши, — вытерев слезы, сказала она.

Он сел за стол, написал и, оставив ее одну, сходил к помощнику редактора заверить подпись и поставить печать. Он не был уверен, необходимо

ли это, но не хотел, чтобы потом оказалось, что ему надо делать что-то еще.

Когда он положил перед Лево́й Степановым бумагу и сказал: «Заверь», тот, макнув ручку в чернила, поднял глаза и долго смотрел на него. Возвращаясь, он еще чувствовал на себе этот сочувственный взгляд. Всего-навсего первый из многих. Наверное, и другие будут считать, что такие немолодые и некрасивые не оставляют женщин. Что женщины уходят от них сами.

Он вошел в комнату и отдал своей бывшей жене удостоверенную редакционной печатью и вложенную в редакционный конверт бумагу.

Она взяла эту бумагу с печатью, расстегнула планшет и, положив ее туда, снова застегнула.

«Вот так все и кончается», — подумал он о прожитых с нею годах. Те, какими они были с нею, они кончились, а тех, какими они могли быть без нее, уже не будет. Он с чувством потери чего-то невозместимого вспомнил себя тогдашнего, тридцатилетнего. Его, тогдашнего, уже не будет — ни для какой другой женщины. Теперь будет только он теперешний, немолодой и не по адресу истративший свои душевные силы. И поэтому не верящий в ту часть себя, которая не война и не работа.

— Сядь, поговорим, ты ведь хотела, — сказал он, садясь на койку и накидывая на плечи полушубок. Его знобило. Он только умел казаться, но не умел быть каменным.

— Нет, я буду ходить, мне так легче, — сказала она и со скорбным лицом и сплетенными за

спиной руками стала говорить разные глупости, выношенные заранее, в дороге.

В сущности, это было длинное предисловие к просьбе отпустить ее с богом. И оно имело какой-то смысл раньше, перед этим, а не теперь, когда он уже отпустил ее. Но ей было жаль оставлять при себе все эти заранее приготовленные и теперь уже бессмысленные слова.

А он слушал и думал: «Нет, она ехала сюда в поезде все-таки не вдвоем, а одна — чтоб прорепетировать всю эту околесицу, нужно было время и одиночество».

Она говорила о себе, всегда понимавшей его. И о нем, никогда ее не понимавшем. О своих жертвах, принесенных ради него.

О том, как она рядом с ним постепенно перестала быть самой собой и как только теперь, без него, снова чувствует себя человеком.

Все это было не ново. Новым было только одно: у нее в планшете лежал кусок бумаги с печатью, за которым она приехала, и она выясняла отношения, которых уже не существовало, забыв о том единственном, что еще продолжало существовать между ними, — об их дочери, которую ни она, ни он не видели уже десять месяцев, после эвакуации школы. Он так и не смог выбраться туда, под Горький, а она так и не удосужилась съездить.

Он не спорил. Того, чем все это в прежние времена кончалось, всегда одинаково — в постели, сейчас уже не могло быть. Он молчал и ждал, когда она все-таки заговорит о дочери, но она думала и говорила только о себе.